

Нью-Йорк, апрель 2010 года

На днях его дочь прислала мне письмо.

Анджела.

За эти годы я много думала о ней, но лично мы общались всего трижды.

Первый раз — в 1971 году: я шила ей свадебное платье.

Второй — в 1977-м: она сообщила, что умер ее отец.

Сейчас она писала, что умерла ее мать. Не знаю, на какую реакцию она рассчитывала: возможно, хотела вызвать у меня замешательство. Но уверена, она это не со зла. Анджела не такая. Анджела — добрый человек. И, что важнее, интересный.

Но кто же знал, что ее мать протянет так долго? Мне-то казалось, она давно умерла. Как и все остальные. (Впрочем, с какой стати удивляться чужому долголетию, когда я сама цепляюсь за жизнь, как ракушка за дно корабля? С чего я возомнила, что я одна такая — старуха, которая ковыляет по Нью-Йорку в свои страшно сказать сколько лет, упорно отказываясь умирать и освободить ценную недвижимость?)

Но больше всего в письме Анджелы меня поразила последняя строчка.

«Вивинан, — писала она, — теперь, когда мамы уже нет, может, расскажешь наконец, кем ты была для моего отца?»

Что ж.

Так кем я была для ее отца?

ЭЛИЗАБЕТ ГИЛБЕРТ

На этот вопрос мог ответить лишь он сам. А раз он предпочел промолчать, кто я такая, чтобы рассуждать от его имени?

Но я могу говорить за себя. И рассказать, кем он был для меня.

———— ГЛАВА ПЕРВАЯ ————

Летом 1940 года меня, девятнадцатилетнюю дурочку, отправили жить к тете Пег в Нью-Йорк. У тети был свой театр.

Чуть раньше меня вытурили из колледжа Вассар, потому что я прогуливала занятия и в итоге провалила все до единого экзамены в конце первого курса. На самом деле, несмотря на плохие оценки, я не была совсем уж законченной тупицей, но, видимо, если ничего не учить, то даже ум не поможет. Сейчас я уже не помню, чем занималась в те часы, когда должна была сидеть на лекциях, но, зная себя, рискну предположить, что вертелась перед зеркалом. (Помню, как раз в том году я пыталась научиться делать «ракушку» — освоение этой прически казалось мне самым важным делом в жизни, и далось оно мне нелегко, хотя в Вассаре все равно не оценили бы мое достижение.)

Я так и не прижилась в колледже, хотя возможностей было предостаточно. В Вассаре учились самые разные девушки и существовали самые разные группировки, но ни одна из них меня не привлекала — я просто не видела себя их частью. В том году там развелось множество политических активисток: они носили строгие черные брюки и обсуждали мировую революцию. Но мировая революция меня не интересовала. (И до сих пор не интересуется. Хотя мне очень нравились их черные брюки — такие шикарные, вот если бы еще карманы не

топорщились.) Были в Вассаре и студентки, отважно вгрызающиеся в гранит науки, — им предстояло стать врачами и адвокатами в те времена, когда женщины в подобных профессиях попадались еще довольно редко. Они могли бы меня привлечь, но нет. Начнем с того, что я их не различала. Все они носили одинаковые бесформенные шерстяные юбки, словно сшитые из старых свитеров. При виде этих юбок настроение у меня сразу портилось.

Не то чтобы Вассар был начисто лишен блеска, нет. Например, студентки с факультета средневековой литературы — романтичные, волоокие — были весьма миленькие, как и самовлюбленные девушки творческого склада с распущенными длинными волосами или великосветские аристократки с точеными профилями итальянских гончих. Но ни с кем из них я так и не подружилась. Вероятно, потому что интуитивно понимала: любая в этом колледже умнее меня. (Подростковая паранойя тут ни при чем: я до сих пор считаю, что все там были умнее меня.)

Честно говоря, сама не знаю, почему я оказалась в колледже, — разве что следовала предначертанию судьбы, смысл которого мне никто не объяснил. С раннего детства мне твердили, что я пойду в Вассар, но никто не говорил зачем. Для чего это все? Что я должна извлечь из обучения? И зачем мне жить в пропахшей вареной капустой комнатухе с неулыбчивой соседкой, которая всерьез решила посвятить свое будущее общественным реформам?

Не говоря уже о том, что к моменту поступления в колледж я наелась учебы досыта. Сначала я несколько лет провела в школе для девочек имени Эммы Уиллард в Трое, штат Нью-Йорк, где преподавали блестящие выпускницы семерки лучших женских колледжей Се-

веро-Востока США, — разве этого мало? С двенадцати лет я отбывала срок в интернате, и мне казалось, что с меня хватит. Сколько книг нужно прочесть, чтобы доказать свое умение читать? Я даже знала, кто такой Карл Великий, — неужели нельзя оставить меня в покое?

К тому же вскоре после начала учебного года я обнаружила в Покипси бар, где наливали дешевое пиво и играли джаз до самого утра. Я научилась незаметно ускользать из кампуса (мой коварный план ежедневного побега включал незапертое окно в туалете и спрятанный велосипед. О, я была грозой охраны!) и стала завсегдатаем этого заведения, ввиду чего латинские спряжения на следующее утро давались мне с трудом: я мучилась от похмелья.

Находились и другие препятствия для учебы. Например, все эти сигареты сами себя не выкурили бы. Короче говоря: я была занята.

Поэтому на курсе, где учились триста шестьдесят две блестящие юные девушки, я заняла триста шестьдесят первое место в списке успеваемости. Услышав об этом, мой отец в ужасе заметил: «Страшно представить, чем отличилась триста шестьдесят вторая!» (Потом мы узнали, что бедняжка болела полиомиелитом.) Так что деканат отправил меня домой, вежливо попросив не возвращаться.

Мама не знала, что со мной делать. Мы и в лучшие времена были не особенно близки. Она обожала лошадей, а я не была лошадью и не интересовалась верховой ездой, так что говорить нам было не о чем. Теперь же я так ее опозорила, что даже смотреть на меня ей было невозможно. Мама окончила Вассар с отличием, не то что я. Выпуск 1915 года, история и французский. В этом почтенном заведении маму все помнили, не в послед-

ную очередь благодаря ежегодным пожертвованиям с ее стороны; поэтому меня и приняли в Вассар, и вот чем я ее отблагодарила. Случайно встречая меня в коридорах нашего дома, мама кивала мне, как дипломат на службе. Вежливо, но холодно.

Папа тоже не знал, как со мной быть, однако у него имелись заботы поважнее неблагополучной дочери — он владел рудниками бурого железяка. Да, я разочаровала отца, но ему было не до меня. Ему, промышленнику и изоляционисту, и без того хватало проблем: разгорающаяся в Европе война могла поставить бизнес под угрозу.

Что до моего старшего брата Уолтера, тот учился на отлично в Принстоне, и я его не интересовала — хотя, конечно, он не преминул выразить неодобрение по поводу моего безответственного поведения. Сам-то Уолтер ни разу в жизни не поступил безответственно. Еще в школе он пользовался таким почтением у одноклассников, что те прозвали его Пророком (я не шучу, честное слово). Теперь он изучал инженерное дело: хотел построить инфраструктуру, которая поможет людям всего мира. (А я даже не знала, что такое инфраструктура, — можете добавить это к перечню моих грехов.) Хотя мы с Уолтером были примерно одного возраста — разница в два года, — мы даже в детстве никогда не играли вместе. Когда ему исполнилось девять, он убрал из своего поля зрения все, что касалось детских забав, включая младшую сестру. Для меня в его жизни места не нашлось, и я это понимала. У друзей и подруг тоже была своя жизнь. Их ждали колледж, работа, замужество, взрослые дела — все то, что меня совершенно не интересовало и было выше моего понимания. Вот так и получилось, что никто меня не замечал и не собирался развлекать. Меня обуяли тоска и вялость. От скуки

буквально подводило живот. Всю первую половину июня я бросала теннисный мяч о стену гаража и насвистывала «Маленький коричневый кувшинчик»*, пока родители не взбеленились и не отправили меня к тете в город. И я их не виню.

Нет, они, конечно, опасались, что в Нью-Йорке из меня сделают коммунистку и наркоманку, но до скончания веков слушать, как дочь швыряет о стенку теннисный мяч, еще хуже.

Так я и оказалась в городе, Анджела, и вот там-то все началось.

В Нью-Йорк меня отправили на поезде — и что это был за поезд! «Эмпайр-Стейт-экспресс» прямиком из Ютики, сияющий хромированный механизм для отсылки бестолковых дочерей куда подальше. Вежливо попрощавшись с мамой и папой, я вручила свой багаж проводнику в красной шапочке и тут же почувствовала себя очень важной персоной. Всю дорогу до Нью-Йорка я просидела в вагоне-ресторане, где пила солодовое молоко, ела груши в сиропе, курила и листала журналы. Да, меня выгнали из дому — но с каким шиком! В то время, Анджела, поезда были гораздо роскошнее нынешних.

Впрочем, обещаю не твердить через слово, мол, «в наши дни было лучше». Помню, в молодости я терпеть не могла стариковские сетования такого рода. (Да всем плевать! Всем плевать на ваше нытье про «золотое времечко», развалины вы старые!) К тому же, смею тебя заверить, я отдаю себе отчет в том, что далеко не все

* Песня, написанная Джозефом Истберном Виннером в 1869 году и получившая второе рождение благодаря исполнению оркестром Гленна Миллера. — Здесь и далее примеч. пер.

было лучше в 1940-е. К примеру, дезодоранты и кондиционеры тогда изрядно уступали нынешним, и воняло от всех жутко, особенно летом, а еще у нас был Гитлер. Но поезда, несомненно, были роскошнее нынешних. Вот когда ты в последний раз наслаждалась солодовым молоком и сигаретой в поезде? То-то же.

Я села в поезд в симпатичном голубом платице с узором из птичек, желтым кантом вдоль ворота, не слишком облегающей юбкой и глубокими карманами на бедрах. Я помню это платье с такой точностью, потому что, во-первых, всегда запоминаю, что на ком надето, — всегда, слышишь? — и, во-вторых, я сама его сшила. И потрудилась на славу. Платье длиной точно до середины икры получилось кокетливым и эффектным. Помню, я пришила к нему подплечники в отчаянной попытке хоть немного приблизиться к образу Джоан Кроуфорд, но сомневаюсь, что сработало. В этом платье, дополненном скромной шляпкой-колокольчиком и позаимствованной у мамы простой голубой сумочкой (набитой исключительно косметикой и сигаретами), я выглядела не столько богиней киноэкрана, сколько тем, кем и являлась: едущей в гости к родственникам девятнадцатилетней девственницей. В Нью-Йорк девятнадцатилетнюю девственницу сопровождали два больших чемодана. В одном путешествовали мои наряды — каждая вещь аккуратно сложена и завернута в папиросную бумагу; во втором — ткани, тесьма и швейные принадлежности, то есть все, из чего можно сшить еще больше нарядов. Кроме того, я везла с собой громоздкий футляр со швейной машинкой — тяжелой неповоротливой штуковиной, крайне неудобной в транспортировке. Но машинка была мне как родная, и без нее я не могла жить.

Поэтому она отправилась со мной.

Этой машинкой — и всем, что впоследствии у меня появилось благодаря ей, — я обязана бабушке Моррис, поэтому давай отвлечемся на минутку и поговорим о ней.

При слове «бабушка», Анджела, тебе, верно, представляется милая старушка-одуванчик, убеленная сединами. Но это не про бабушку Моррис. Она была высокой темпераментной стареющей кокеткой с крашенными под красное дерево волосами; ее повсюду сопровождало облако духов и сплетен, а одевалась она как циркачка.

Это была самая яркая женщина в мире — яркая во всех смыслах слова. Бабушка носила платья из жатого бархата невероятных цветов — она не называла их «кремовый», «малиновый» или «голубой», как прочая публика с убогим воображением; нет: она говорила «пыльная роза», «бордо» и «делла Роббиа». У нее были проколоты уши, в отличие от большинства приличных дам тех времен; в обитых бархатом бабушкиных шкатулках для драгоценностей хранился клубок дешевых и дорогих бус, сережек и браслетов, который можно было распутывать бесконечно. У нее имелся особый автомобильный костюм для слепополуденных выездов в город и такие огромные шляпы, что в театре она укладывала их рядом с собой на соседнее кресло. Ей нравились котят и косметика, которую она заказывала по почтовым каталогам; она любила читать статьи о сенсационных убийствах в таблоидах и писала романтические стихи. Но больше всего на свете бабушка любила драму. Она не пропускала ни одного спектакля в нашем городе и обожала движущиеся картинки — кино. Я часто ходила с ней за компанию, так как вкусы у нас совпада-

ли. (Нас обеих привлекали сюжеты, где невинных девиц в воздушных платьях похищают опасные мужчины в зловещих шляпах, а потом спасают другие мужчины с гордыми подбородками.)

Понятное дело, я любила бабушку Моррис.

Впрочем, больше в нашей семье ее не любил никто. Все, кроме меня, считали ее позором и недоразумением, особенно ее невестка (моя мать), для которой лучше было умереть, чем прослыть фривольной. Говоря о бабуле, мама неизменно морщилась и называла ее не иначе как «эта вертихвостка».

Моя мать, как ты, верно, уже догадалась, романтических стихов не писала.

Но именно бабушка Моррис научила меня шить.

Она была превосходной швеей. (Ее, в свою очередь, тоже обучила бабушка, всего за одно поколение поднявшаяся от прислуги-эмигрантки из Уэльса до богатой американской леди, в немалой степени благодаря умению обращаться с иглой и ниткой.) Бабушка Моррис и из меня вознамерилась сделать превосходную швею. Поэтому мы не только ели ириски в кино и читали друг другу журнальные заметки о том, как невинных белых девушек продают в сексуальное рабство, но каждую свободную минуту посвящали шитью. И не просто шитью. Бабушка Моррис требовала от меня совершенства. Она делала десять стежков, затем предлагала мне сделать следующие десять, и если у меня не получалось столь же безупречно, как у нее, все распарывала и велела повторить. Она научила меня обращаться с нежнейшими материалами вроде тюля и кружева, и вскоре уже ни одна ткань меня не пугала, даже самая капризная. А крой! А подкладка! А вытачки! В двенадцать лет я могла сшить корсет на китовом усе.